

GLADIUS DEI

Мюнхен светился. Над пышными площадями и белыми колоннадами, над памятниками в античном вкусе и церквями барокко, над фонтанами, дворцами и скверами столицы шелковым шатром раскинулось ярко-голубое небо, а ее широкие, светлые, окаймленные газонами, красиво распланированные улицы были окутаны легкой солнечной дымкой чудесного июньского дня.

В каждом переулке — щебет птиц, затаенное ликование. А на площадях и бульварах рокошет, струится, шумит привольная, веселая жизнь прекрасного, беспечного города. Туристы всех национальностей разъезжают в небольших, медленно движущихся пролетках, безразлично-любопытным взглядом всматриваются в дома или поднимаются по широким ступеням музеев.

Многие окна распахнуты, из многих слышится музыка — упражнения, разыгрываемые на рояле, скрипке, виолончели добросовестными пальцами старательных дилетантов. В «Одеоне» — оттуда тоже доносятся звуки — на нескольких концертных роялях разучивают трудные пьесы.

Молодые люди, насвистывающие мотив Нотунга, а по вечерам теснящиеся в задних рядах театра Современной драмы, входят в университет и государственную библиотеку и выходят оттуда с торчащими из карманов книжками литературных журналов. Перед Академией художеств, раскинувшей свои белые крылья между Тюркенштрассе и Зигестор, останавливается придворный экипаж. На ступенях ее лестницы красочными группами, сидя, стоя, лежа, расположились модели — живописные старцы, дети, женщины в одежде жителей Альбанских гор.

На длинных прямых улицах северной части города — беззаботная, неторопливая толпа гуляющих. Здесь люди не поглощены жаждой наживы, не захвачены ею всецело: они живут и наслаждаются жизнью. Молодые художники, без тросточек, в круглых, сдвинутых на затылок шляпах и небрежно повязанных галстуках, бесшабашные парни, расплачивающиеся за комнату красочными этюдами, отправляются гулять, чтобы, проникнуться настроением прозрачно-голубого утра. Они смотрят вслед девушкам — большеногим, коренастым, но милovidным созданиям нестрогого нрава с темными, зачесанными на уши волосами. В каждом пятом доме — студии художников; стекла их сверкают на солнце. Там и сям, среди заурядных построек, выделяются дома, возведенные молодыми, одаренными архитекторами, — стильные, смело задуманные, с широким фасадом, пологими арками, вычурным орнаментом. Иногда вокруг входной двери какого-нибудь скучнейшего здания лепится смелая импровизация из плавных линий и ярких красок, розовеет нагота нимф и вакханок.

Витрины мастерских художественной мебели, магазинов изделий прикладного искусства вновь и вновь услаждают тех, кто останавливается перед ними. Какое обилие фантазии в комфорте, какой мягкий юмор в линиях и очертаниях предметов! На каждом шагу — лавки, где торгуют старинными вещами, рамками, статуэтками. Из окон смотрят бюсты женщин флорентийского Кватроченто, исполненные благородной грации. И владелец самой жалкой, самой захудалой из этих лавчонок говорит о Донателло и Мино да Фьезоле таким тоном, словно они лично передали ему право воспроизведения своих скульптур.

А там, у площади Одеона, против величественной галереи Полководцев, подступы к которой выстланы мозаичными плитами, наискосок от дворца принца-регента, люди толпятся

у зеркальных окон большого художественного магазина М. Блютенцвейга, обширного предприятия, торгующего красотой.

Сколько радостного великолепия в этой выставке! Репродукции шедевров всех галерей мира в дорогих, изысканно простых рамах, окрашенных и отделанных с тончайшим вкусом; снимки с картин современных художников, красочные, радостные видения, как бы воскрешающие античность в новом, проникнутом юмором и реализмом духе; скульптуры Возрождения в совершеннейших слепках, обнаженные тела, отлитые из бронзы, и хрупкие стеклянные сосуды; глиняные вазы, нарочито прямолинейные, которым длительное воздействие паров металла придало волшебную яркую, переливчатую окраску; роскошные издания, торжество современного книжного искусства, труды модных лириков в изящных и в то же время роскошно-декоративных переплетках. Тут же, в угоду любопытству публики, всегда интересующейся личностью, — портреты художников, музыкантов, философов, актеров, поэтов. В первом окне, рядом с книжным магазином, выставлена на мольберте большая картина, перед которой с утра до вечера толпятся люди. Прекрасная, выдержанная в красновато-коричневых тонах фотография в широкой раме под темное золото, репродукция «гвоздя» международной выставки этого года, куда публику усердно зазывают эффектные, выполненные в старинном стиле плакаты, расклеенные на всех афишных колонках между объявлениями о концертах и художественно выполненными рекламами косметических средств.

Оглянитесь вокруг, посмотрите на витрины книжных магазинов! В глаза вам бросаются заглавия: «История внутреннего убранства со времен Возрождения», «Воспитание чувства краски и цвета», «Возрождение современного прикладного искусства», «Книга как произведение искусства», «Декоративное искусство», «Жажда искусства», — и заметьте себе, что эти книги и брошюры, пропагандирующие искусство, расходятся и изучаются в тысячах экземпляров, а по вечерам на те же темы читаются публичные лекции.

Если вам посчастливится, вы встретите одну из тех прославленных дам, которых мы обычно видим лишь на полотнах художников: одну из тех богатых, красивых, украшенных брильянтами, искусно превращенных в тициановских блондинок женщин, чьим обворожительным чертам кисть гениального портретиста даровала бессмертие и о чьих любовных похождениях говорит весь город! Эти женщины, царицы балов, задаваемых художниками во время карнавала, слегка подкрашены, чуть-чуть поддурманены, исполнены благородной грации, падки на успех и достойны поклонения. Посмотрите! По Людвигштрассе проезжает знаменитый художник со своей любовницей. Люди указывают друг другу на экипаж, останавливаются, долго глядят вслед. Многие снимают шляпы. Кажется, вот-вот полицейские станут навтыяжку.

Искусство процветает, искусству принадлежит власть, искусство, улыбаясь, простирает над городом свой увитый розами скипетр. Все благоговеино помогают его расцвету, все ревностно и самозабвенно славят его и служат ему своим творчеством, все сердца подвластны культуре линии, орнамента, формы, красоты, чувственной радости... Мюнхен светился.

Вверх по Шеллингштрассе шел юноша. Не обращая внимания на отчаянные звонки велосипедистов, шагал он посередине торцовой мостовой, направляясь к внушительному зданию Людвигскирхе. Людям, глядевшим на него, казалось, что солнце заволокло темной тенью или что душу их омрачает воспоминание о тяжелых минутах. Неужели не мило ему солнце, праздничным светом озаряющее прекрасный город? Почему он идет потупившись, сосредоточенный, чуждый всему вокруг?

Он был без шляпы; это никому не казалось странным — в легкомысленном Мюнхене всякий одевается как ему угодно. На голову у него был надет капюшон широкого черного плаща; этот капюшон закрывал уши, обрамлял исхудалые щеки и спадал на низкий, покатый, резко очерченный лоб. Почему у юноши такое изможденное лицо? Какие муки совести, какие сомнения, какие самоистязания тому причиной? Разве не ужасно в лучезарный воскресный

день зрелище скорби, глубоко залегшей во впалых щеках человека? Темные брови его кустились у тонкой переносицы, крупный горбатый нос сильно выступал вперед; губы были толстые, мясистые. Когда он поднимал карие, близко поставленные глаза, покатый лоб бороздился поперечными морщинами. Взор его выражал умудренность, ограниченность, скорбь. В профиль лицо это было разительно похоже на старый, рукою монаха написанный портрет, хранящийся во Флоренции в тесной мрачной келье, из которой некогда раздался грозный всесокрушающий клич, призывавший к борьбе против жизни и ее торжества.

Иеронимус шел вверх по Шеллингштрассе, шел медленно, твердой поступью, обеими руками запахивая изнутри широкий плащ. Две молодые девушки — миловидные, коренастые создания с темными, зачесанными на уши волосами, слишком большими ногами и нестрогими нравами, под ручку отправившиеся на поиски приключений, — поравнявшись с ним, толкнули друг дружку, захохотали и пустились бежать, до того смешны показались им лицо и капюшон. Но Иеронимус не обратил на них внимания. Понутив голову, не глядя по сторонам, он пересек Людвигштрассе и поднялся по ступеням Людвигскирхе.

Обе створки большой средней двери были распахнуты; где-то вдали, сквозь священный полумрак, густой, прохладный, пропитанный запахом ладана, мерцал тусклый красноватый огонек. Церковь была пуста, только какая-то старуха с налитыми кровью глазами поднялась со скамьи и на костылях потащилась куда-то между колоннами.

Иеронимус окропил лоб и грудь святой водой, преклонил колени перед престолом и стал посреди церкви. Не казался ли он здесь, в храме, выше ростом, внушительнее? Он выпрямился и стоял теперь неподвижно, гордо подняв голову. Крупный горбатый нос властно выступал над мясистыми губами, глаза уже не были опущены, а смело, прямо смотрели вдаль, на распятие у престола.

Некоторое время он пребывал в полной неподвижности, затем отступил на шаг, снова преклонил колени и вышел из церкви.

Медленной, твердой поступью, держась середины широкой торцовой мостовой, пошел он вверх по Людвигштрассе к величественной галерее Полководцев, украшенной статуями. Но, дойдя до площади Одеона, он поднял глаза, отчего резко очерченный лоб изборозвился поперечными морщинами, и замедлил шаг. Его внимание привлекла толпа, сгрудившаяся у витрин большого художественного магазина М. Блютенцвейга — обширного предприятия, торгующего красотой.

Люди переходили от окна к окну, любясь выставленными там сокровищами, заглядывали через плечо соседа, обменивались впечатлениями. Иеронимус вмешался в толпу и тоже стал внимательно рассматривать одну за другой все эти вещи.

Он смотрел на репродукции шедевров всех галерей мира, на изысканно простые, ценные рамы, на скульптуры Возрождения, на бронзовые тела и стеклянные сосуды, на переливчатые вазы, роскошно изданные книги, портреты художников, музыкантов, философов, артистов, поэтов. Плотно запахивая обеими руками плащ, он резким, порывистым движением поворачивал окутанную капюшоном голову от предмета к предмету, и глаза его под темными, кустившимися у переносицы бровями ненадолго, с каким-то озадаченным, тупым, высокомерно-изумленным выражением останавливались на каждом из них. Так он дошел до первого окна — того, где стояла картина, привлекавшая всеобщее внимание, — и, поглядев через плечи столпившихся людей, пробрался наконец вперед, к самой витрине.

Большая, выдержанная в красновато-коричневых тонах фотография, в подобранной с изысканным вкусом раме под темное золото, стояла на мольберте посередине окна. То было изображение мадонны, задуманное и выполненное в современном духе, свободном от всякой условности. Весь облик полуобнаженной прекрасной богородицы дышал обаянием женственности. Под большими, страстными глазами залегли темные тени, полураскрытые губы едва заметно, загадочно улыбались. Тонкие пальцы как-то судорожно, нервно обвилась вокруг ножки нагого младенца, благородно-хрупкого, написанного в духе примитива; лаская грудь матери, он в то же время искоса, умными глазами смотрел на зрителя.

Рядом с Иеронимусом стояли и обменивались впечатлениями о картине двое юношей, державших под мышкой книги, которые они либо только что взяли в государственной библиотеке, либо несли туда; люди, получившие гуманитарное образование, сведущие в искусстве и науках.

— Малыш недурно устроился, черт возьми! — сказал один из них.

— Да, он, видно, и сам понимает, что устроился всем на зависть, — ответил другой. — Опасная женщина!

— С ума можно сойти! Начинаешь сомневаться в догмате непорочного зачатия!

— Да, да! Вид у нее, я бы сказал, бывалый! Ты видел оригинал?

— Ну, разумеется! Я был совершенно потрясен. В красках она волнует еще сильнее, особенно хороши глаза.

— А ведь сходство очень большое.

— Какое сходство?

— Да разве ты не знаешь, что он писал мадонну со своей модисточки? Это почти что портрет, только здесь сгущен оттенок порочности. Сама девчонка проще.

— Надо надеяться! Жизнь была бы слишком утомительной, если бы встречалось много таких *mater amata**.

— Картину приобрела Пинакотека.

— Да неужто? Впрочем, они уж, наверно, знали, что делают. Фактура тела и одежды просто бесподобна.

— Да, чертовски талантливый парень!

— Ты его знаешь?

— Немного. Он, безусловно, сделает карьеру. Его уже два раза приглашали на обед к регенту. Они начали прощаться, продолжая болтать.

— Будешь сегодня вечером в театре? — спросил один из них другого. — Любительский кружок ставит «Мандрагору» Макиавелли!

— Bravo! Вот, вероятно, будет занятно! Я собирался в кабаре художников, но, вероятно, в конце концов предпочту достойного Никколо. До свиданья!

Они распрощались, отошли от окна и повернули в разные стороны. Их сменили другие, в свою очередь принявшие внимательно разглядывать нашумевшую картину. Только Иеронимус все не двигался с места, он стоял, вытянув шею, и руки его судорожно сжимались, запахивая на груди плащ. Теперь его брови не были вздернуты; они уже не выражали холодного, даже злобного изумления, но мрачно хмурились; щеки, прикрытые черным капюшоном, казались еще более впалыми, толстые губы побелели. Голова медленно клонилась все ниже и ниже, пока наконец неподвижный взор не вперился в картину совсем исподлобья. Ноздри его трепетали.

В этом положении он пробыл с четверть часа. Люди вокруг приходили и уходили, он один не двигался с места. Наконец он медленно, медленно повернулся и ушел, тяжело ступая на пятки.

Но облик мадонны сопутствовал ему. Преклонял ли он колени в прохладных церквах, оставался ли в своей тесной, мрачной келье, — всегда и всюду стояла она перед его возмущенной душой, полуобнаженная, прекрасная, со своими страстными глазами, под которыми залегли темные тени, с загадочной своей улыбкой. И никакими молитвами не мог он отогнать ее от себя.

А на третью ночь Иеронимус услышал зов свыше, веление действовать, поднять голос против безрассудного нечестия и кичливой красоты. Тщетно он, подобно Моисею, отговаривался косноязычием; воля господня была непреклонна и громогласно требовала, чтобы он преодолел свою робость, принес эту жертву и отправился в стан ликующих врагов.

* Матерь возлюбленная (лат.).

И утром он отправился в путь, ибо на то была воля господня, в художественный магазин М. Блютенцвейга, в обширное предприятие, торгующее красотой. Голова его была окутана капюшоном, руки плотно запахивали плащ изнутри.

Становилось душно; небо было бледно-серое, надвигалась гроза. Снова, как и в тот раз, множество людей теснилось перед окнами художественного магазина, особенно там, где стояло изображение мадонны. Иеронимус окинул ее беглым взглядом, затем нажал ручку стеклянной двери, завешенной плакатами и художественными журналами, и, промолвив: «Да будет воля твоя!» — вошел в магазин.

Молодая девушка, в дальнем углу за конторкой вписывавшая что-то в бухгалтерскую книгу, миловидное создание с темными, зачесанными на уши волосами и слишком большими ногами, подошла к нему и приветливо спросила, что ему угодно.

— Благодарю вас, — тихо ответил Иеронимус и, вздернув брови, нахмутив покатый лоб, серьезно посмотрел ей прямо в глаза. — Я не с вами хочу говорить, а с владельцем магазина, господином Блютенцвейгом.

Она немного помедлила, затем отошла от него и снова принялась за работу. Он стоял посреди магазина.

Все, что на витринах было представлено отдельными образцами, здесь высилось грудями, загромождало прилавки — великое множество красок, линий, форм, стилей, оригинальных идей, тонкого вкуса и красоты. Иеронимус медленно оглянулся по сторонам и плотнее запахнул полы своего тяжелого плаща.

В лавке было несколько человек. Сидя у одного из широких столов, расставленных поперек магазина, какой-то господин с черной козлиной бородкой, одетый в желтый костюм, рассматривал папку с рисунками французских художников. Пристально вглядываясь в них, он время от времени смеялся бляющим смехом. Вокруг него суетился молодой человек, вид которого позволял безошибочно определить, что он получает ничтожное жалование и питается одними овощами. Он приносил тяжелые папки и раскладывал их перед посетителем. Наискосок от бляющего господина пожилая, по-видимому знатная, дама перебирала художественные вышивки — крупные фантастические цветы блеклых тонов, высившиеся вертикальными рядами на длинных, прямых стеблях.

Около нее тоже хлопотал один из служащих магазина. У другого стола сидел, развалившись, англичанин в дорожном кепи, с пенковой трубкой во рту, одетый в костюм из прочной материи, невозмутимый, гладко выбритый, неопределенного возраста; господин Блютенцвейг собственноручно подносил ему одну бронзовую статуэтку за другой. Англичанин держал за голову обнаженную фигурку совсем юной девушки, стройной, не вполне еще сформировавшейся, кокетливо-целомудренным жестом скрестившей руки на груди, и внимательно разглядывал ее, не спеша поворачивая во все стороны.

Господин Блютенцвейг, мужчина с короткой темной окладистой бородой и темными же блестящими глазами, юлил вокруг него, потирал руки и, пуская в ход весь свой наличный запас английских слов, превозносил красоту девушки.

— Сто пятьдесят марок, сэ, — говорил он по-английски, — произведение мюнхенского искусства, сэ. Очень миловидна, как видите. Я бы сказал, полна очарования! Сама грация, сэ! Присмотритесь, и вы поймете, до чего это восхитительно! — Тут он еще что-то припомнил и добавил: — В высшей степени привлекательно и соблазнительно. — А затем начал сызнава.

Его нос был слегка приплюснут к верхней губе, поэтому он постоянно сопел в усы, негромко пофыркивая. Вдобавок он время от времени подходил к покупателю пригнувшись, словно обнюхивал его. Когда Иеронимус переступил порог магазина, господин Блютенцвейг мельком освидетельствовал его точно таким же образом, но затем снова занялся исключительно англичанином.

Знатная дама остановила свой выбор на одной из вышивок и удалилась.

Вошел новый покупатель. Господин Блютенцвейг бегло обнюхал его, как бы желая выяснить степень его покупательной способности, и сдал на попечение молодой конторщицы. Вновь пришедший купил всего лишь фаянсовый бюст Пьеро, сына великолепного Медичи, и сейчас же ушел. Англичанин тоже стал собираться. Он приобрел в собственность юную девушку и вышел, провожаемый поклонами господина Блютенцвейга, Теперь владелец магазина повернулся к Иеронимусу и подошел к нему.

— Что вы желаете? — спросил он без особой угодливости.

Плотно запахивая плащ обеими руками изнутри, Иеронимус пристально, почти не моргая, смотрел в лицо господину Блютенцвейгу. Медленно раздвинув толстые губы, он сказал: — Я пришел к вам насчет картины в том окне, большой фотографии мадонны. — Голос его звучал монотонно, глухо.

— Милости просим, — живо подхватил господин Блютенцвейг, потирая руки. — Семьдесят марок, сударь, в раме. Без запроса. Первоклассная репродукция. Чрезвычайно привлекательна. Полна очарования.

Иеронимус молчал. Пока владелец художественного магазина говорил, он стоял сгорбившись, склонив покрытую капюшоном голову, затем снова выпрямился и сказал: — Должен заранее заявить вам, что я не в состоянии ее купить, да и вообще ничего покупать не намерен. Сожалею, что приходится разочаровать вас. И сочувствую, если это причиняет вам огорчение. Но, во-первых, я беден, а во-вторых, не люблю тех вещей, которыми вы торгуете. Нет, купить я ничего не могу.

— Так... не можете! — ответил господин Блютенцвейг и сильно засопел.

— В таком случае разрешите спросить...

— Судя по вашему лицу, — продолжал Иеронимус, — вы презираете меня за то, что я не имею возможности что-либо приобрести у вас.

— Гм, — откликнулся господин Блютенцвейг. — Да нет же!.. А только...

— Тем не менее я прошу вас выслушать меня и внимательно отнестись к моим словам...

— Внимательно... Гм... Позвольте вас спросить...

— Вы можете спрашивать, — сказал Иеронимус, — и я отвечу вам. Я пришел просить вас, чтобы вы немедленно убрали из окна эту картину, эту большую фотографию, эту мадонну, и никогда больше не выставляли ее.

Господин Блютенцвейг некоторое время молча смотрел прямо в лицо Иеронимусу, как бы призывая его прийти в смущение от собственных слов. Но так как этого не последовало, он сильно засопел и с трудом промолвил:

— Будьте любезны сообщить мне, являетесь ли вы должностным лицом, имеющим право отдавать мне распоряжения, в противном случае — что, собственно, привело вас...

— О нет! — ответил Иеронимус. — Я не занимаю никакой государственной должности. Сила не на моей стороне, господин Блютенцвейг. Меня привела сюда единственно моя совесть.

В поисках ответа господин Блютенцвейг вертел головой во все стороны, тяжело дышал и сопел в усы. Наконец он сказал: — Ваша совесть... В таком случае извольте принять к сведению... что ваша совесть... для нас... не имеет решительно никакого значения!

С этими словами он повернулся, быстрыми шагами направился в глубь магазина, к своей конторке, и принялся писать. Оба продавца расхохотались.

Миловидная девица тоже захихикала, склонившись над своей счетной книгой. Что касается желтого господина с черной козлиной бородкой, то, будучи иностранцем, он, по-видимому, ни слова не понял из всего разговора и продолжал разглядывать рисунки французских художников, время от времени смеясь блеющим смехом.

— Будьте любезны заняться этим господином, — небрежно сказал господин Блютенцвейг своему помощнику и снова принялся писать.

Молодой человек, тот самый, по виду которого безошибочно можно было сказать, что он получает ничтожное жалование и питается одними овощами, приблизился к Иеронимусу, едва сдерживая смех; подошел и второй служащий.

— Может быть, мы могли бы служить вам чем-нибудь другим? — вкрадчиво спросил плохо оплачиваемый продавец.

Иеронимус не отрываясь смотрел на него страдальческим, тупым и в то же время испытующим взором.

— Нет, — сказал он. — Ничем другим вы мне служить не можете. Прошу вас немедленно убрать с выставки изображение мадонны, и убрать навсегда.

— О... Почему же?

— Это пресвятая богоматерь, — вполголоса проговорил Иеронимус.

— Конечно... Но ведь вы слышали, что господин Блютенцвейг не намерен исполнить ваше желание.

— Надо помнить, что это пресвятая богоматерь, — повторил Иеронимус.

Голова его тряслась.

— Верно. Но что из этого следует? Разве нельзя выставлять мадонн? Разве нельзя писать их?

— Можно, но только не так! Не так! — почти шепотом возразил Иеронимус. Он выпрямился во весь рост и несколько раз упрямо мотнул головой.

Резко очерченный лоб его, обрамленный капюшоном, весь избороздился поперечными морщинами. — Вы отлично знаете, что в этой картине человек, писавший ее, изобразил не что иное, как порок, обнаженное сладострастие! Я своими ушами слышал, как двое простых, несведущих людей, созерцая это изображение мадонны, говорили, что оно заставляет их усомниться в догмате непорочного зачатия...

— Да позвольте, дело совсем не в этом, — перебил его молодой продавец, снисходительно улыбаясь. В часы досуга он писал брошюру о современном художественном движении и вполне мог поддержать разговор на такую тему. — Эта картина — художественное произведение, — продолжал он, — поэтому к ней следует подходить с особой меркой. Она встретила всеобщее признание, имела огромный успех. Ее приобрело государство.

— Я знаю, что государство приобрело ее, — сказал Иеронимус. — Я знаю также, что художник два раза обедал у принца-регента. Люди говорят об этом, и одному богу известно, как они объясняют тот факт, что человека за подобную картину окружают почетом и уважением. О чем это свидетельствует? О слепоте мира, слепоте непостижимой, если она не основана на бесстыдном лицемерии.

Эта картина возникла из чувственного наслаждения и доставляет чувственное наслаждение, — правда это или нет? Ответьте мне! Ответьте и вы, господин Блютенцвейг!

Наступило молчание. Иеронимус, по-видимому, и в самом деле требовал ответа; страдальческий, испытующий взор его карих глаз устремлялся то на обоих продавцов, с любопытством и удивлением уставившихся на него, то на сутулую спину господина Блютенцвейга. Было очень тихо. Слышался только блеющий смех желтого господина с черной козлиной бородкой, низко склонившегося над рисунками французских художников.

— Это правда! — продолжал Иеронимус глухим, дрожащим от негодования голосом. — Вы не смеете отрицать! Но как же тогда прославлять того, кто написал эту картину, словно он приумножил число духовных сокровищ человечества? Можно ли, стоя перед ней, бездумно предаваться постыдному наслаждению, которое она доставляет, и усыплять совесть словом «красота», — более того, всерьез внушать себе, что, наслаждаясь ею, испытываешь благородное, возвышенное, поистине достойное человека чувство? Что это: преступное неведение — или презренное лицемерие? Мой разум отказывается это понять, отказывается понять эту нелепость — как это человек может достичь высшей славы на земле тем, что он глупо и самонадеянно дает волю своим животным инстинктам. Красота... Что такое красота? Что вызывает красоту к жизни? Какие чувства она порождает? Не может быть, чтоб вы этого

не знали, господин Блютенцвейг! Но разве мыслимо уяснить себе это и не преисполниться омерзения, скорби? Разве не преступно возвеличением красоты, кощунственным поклонением красоте усиливать и укреплять неведение бесстыдных отроков и дерзких безумцев, утверждать ее власть над ними, ибо они далеки от страдания и еще дальше от спасения! Вы ответите мне: «Ты мрачно смотришь на все, незнакомец!» Познание, говорю я вам, жесточайшая наука в мире, но оно и раскаленное горнило, и без этой очистительной пытки ни одна душа человеческая не спасется! Не дерзкая ребячливость и не преступное легкомыслие служат во благо человеку, господин Блютенцвейг, а то познание, в котором отмирают и угасают страсти нашей презренной плоти.

Все молчали, только желтый господин с черной козлиной бородкой рассмеялся блеющим смехом.

— Вам, наверное, пора идти, — мягко сказал плохо оплачиваемый продавец.

Но Иеронимус не намеревался уходить. Выпрямившись во весь рост, сверкая глазами, стоял он, закутанный в плащ с капюшоном, посреди лавки, а с его толстых губ резко и скрипуче срывались слова обличения.

— «Искусство, — восклицают они, — наслаждение! Красота! Обволакивайте мир красотой, любой предмет облагораживайте стилем!» Прочь, презренные! Неужели мнят люди скрыть под яркими красками нужду и горе мира сего? Неужели мнят, что кликами, прославляющими торжество изысканного вкуса, можно заглушить стон страждущей земли? Вы ошибаетесь, — вы, не ведающие стыда! Господь не даст глумиться над собой, ваше дерзкое служение кумирам, поклонение обманчиво-блестящей видимости ему ненавистно, «Ты поносишь искусство, незнакомец!» — ответите вы мне. Вы лжете, говорю я вам, я не поношу искусство! Искусство — не бессовестный обман, соблазном побуждающий укреплять, утверждать плотскую жизнь! Искусство — священный факел, который должен милосердием осветить все ужасающие глубины, все постыдные бездны человеческого бытия. Искусство — божественный огонь, который должен зажечь мир, дабы весь этот мир, со всем своим позором, со всей своей мукой, вспыхнул и расплавился в искупительном сострадании! Уберите картину знаменитого художника с вашего окна, господин Блютенцвейг, уберите ее, и хорошо, если бы вы сожгли ее на пылающем огне и развеяли пепел ее по ветру...

Его резкий голос осекся. Он быстро отступил на шаг, высвободил правую руку из-под черного плаща, порывистым, испуганным движением простер ее вперед и трясущимися, странно искривленными пальцами указал на окно, на витрину — туда, где стояло привлекавшее все взоры изображение мадонны. Он словно застыл в этой повелительной позе. Крупный горбатый нос властно выдавался вперед, темные, кустившиеся у переносицы брови были так сильно вздернуты, что выступавший из-под капюшона резко очерченный лоб весь избороздился поперечными морщинами, впалые щеки горели лихорадочным румянцем.

Но тут господин Блютенцвейг повернулся к нему. Быть может, его глубоко возмутило требование сжечь репродукцию, стоившую семьдесят марок; быть может, речи Иеронимуса окончательно истощили его терпение, — как бы там ни было, он являл зрелище справедливого и яркого гнева. Карандашом он указал на дверь, несколько раз подряд отрывисто и взволнованно фыркнул в усы, тяжело перевел дух и, наконец, весьма внушительно заявил: — Если вы, почтеннейший, немедленно не оставите это помещение, я велю своему упаковщику помочь вам выбраться. Поняли?

— О, вам не удастся меня запугать, прогнать меня, заставить меня умолкнуть! — воскликнул Иеронимус, стиснув кулаком капюшон у горла и бесстрашно вскинув голову. — Я знаю, что я одинок и бессилён, и все же я не умолкну, пока вы не внимаете мне, господин Блютенцвейг! Уберите картину из окна и сожгите ее сегодня же! Ах, не ее одну сожгите! Сожгите и эти статуэтки и бюсты, созерцание которых вводит в соблазн, сожгите эти вазы и украшения, бесстыдно воскрешающие язычество, эти роскошно изданные любовные стихи! Сожгите все, что у вас в лавке, господин Блютенцвейг, ибо перед взором господним все это — прах смердящий! Сожгите, сожгите, сожгите! — восклицал он вне себя, в испугании описывая рукой

широкий круг. — Жатва созрела для косца, дерзость времени нашего прорвала все препоны... но говорю вам...

— Краутхубер! — с трудом выговорил господин Блютенцвейг, повернувшись к двери в глубине магазина. — Подите сюда, да поскорей!

На этот зов явилось нечто подавляюще огромное: чудовищная, необъятная масса, человек такой тучности, что все части его тела, бесформенные, разбухшие, раздутые, заплывшие жиром, сливались одна с другой, — тяжело пыхтевшее, медленно, гулко ступавшее по полу исполинское существо, вскормленное пивом, сын племени, взысканного ужасающей мощью! Вверху на его лице красовались бахромчатые, как у тюленя, усы, вокруг туловища был повязан большой, испачканный клеем передник, засученные рукава желтой рубашки обнажали богатырские мышцы.

— Будьте добры открыть дверь этому господину, Краутхубер, — сказал господин Блютенцвейг, — и если он все же не найдет ее, помогите ему выбраться на улицу.

— А? — прохрипел Краутхубер, маленькими, слоновьими глазками глядя то на Иеронимуса, то на разгневанного хозяина. В этом глухом звуке чувствовалась с трудом сдерживаемая сила. Затем он, сотрясая все вокруг своими шагами, подошел к двери и распахнул ее.

Иеронимус стал бледен как полотно. Он хотел сказать: «Сожгите...» — но почувствовал, как какая-то чудовищная сила повернула его, как чье-то тело, тяжести которого невыносимо было противиться, налегло на него и стало медленно, неудержимо теснить его к двери.

— Я слаб... Плоть моя не выносит насилия... не способна противостоять ему... нет... Что это доказывает? Сожгите...

Он умолк. Он находился на улице, перед магазином. Исполин, слуга господина Блютенцвейга, наконец выпустил его, легонько дав ему пинка, так что он боком упал на каменные ступени, едва успев опереться на руку.

Стеклянная дверь, громко дребезжа, захлопнулась за ним.

Он поднялся, выпрямился. Тяжело дыша, он одной рукой крепко стиснул капюшон у горла, другая бессильно повисла под плащом. Впалые щеки подернулись серой бледностью, ноздри то раздувались, то суживались.

Некрасивые губы кривились, выражая жестокую ненависть, а ярко сверкавшие глаза безумно, иступленно блуждали по прекрасной площади.

Он не видел обращенных на него любопытных насмешливых взглядов. Он видел, как вся мишура земная — маскарадные костюмы художников, вазы, стильные украшения и предметы убранства, нагие статуи и женские бюсты, картины, красочно воскрешающие язычество, портреты знаменитых красавиц, написанные великими мастерами, роскошно изданные любовные стихи и сочинения, прославляющие искусство, — как все это, сложенное огромной пирамидой на мозаичных плитах, перед величественной галереей, пылает ярким огнем, под радостные клики народа, поработанного его, Иеронимуса, обличительным словом.

В тучах, которые иссера-желтой стеной, громяхая, надвигались со стороны Театинерш-трассе, он видел широкий, осиянный зловещим светом огненный меч, простертый над ликующим городом.

— *Gladius Dei super terram*, — едва слышно шептали его толстые губы.

Выпрямившись во весь рост, гневно сжимая под плащом кулак, он дрожащим голосом пробормотал: — *Cito et velociter!**

1902

* Меч господень над землей... Скоро и неукоснительно! (лат.)